

Наряду с факторами, препятствующими авторитарным тенденциям, существуют противоположные им. Не дождавшись прогнозируемых результатов от демократических реформ 90-х годов, общество разочаровалось во многих ценностях демократии и готово поддержать власть, которая обеспечит стабильность и порядок. Особая осложненность демократизации в России обусловлена масштабами страны, спецификой ее демографической, этнонациональной, конфессиональной структур – давно

известно, что переходный процесс протекает по-разному в странах больших и малых по территории.

Сегодня можно только предполагать и надеяться, что власть устоит перед соблазном вернуться вспять к жестким формам авторитаризма.

В заключение можно отметить, что статья не претендует на анализ и описание всех известных в политической науке моделей транзита и их практического применения.

Литература

1. Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы // Полис. 2004. № 4.
2. Rustow D.A. Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model // Comparative Politics. 1970. Vol. 2. No. 3.
3. Bunce V. The Political Economy of Postsocialism // Slavic Review. 1999. Vol. 58. No. 4.
4. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1.
5. Шмиттер Ф. Процесс демократического транзита и консолидации демократии // Полис. 1999. № 3.
6. Путин В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 25 апреля 2005 г. – http://www.president.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type82634_87049.shtml.
7. Дахин А.В. Система государственной власти в России: феноменологический транзит // Полис. 2006. № 3.
8. Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика // Полис. 2006. № 1.
9. Красин Ю.А. Метаморфозы демократии в изменяющемся мире // Полис. 2006. № 4.

И.Е. Рудковская

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРАВИТЕЛЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ (Н.М. КАРАМЗИН)

Томский государственный педагогический университет

Среди круга проблем, постановка и исследование которых призваны приблизить нас к пониманию доминант формирования политической культуры России, представляется одной из важнейших проблема закрепления авторитарной традиции в ее политическом пространстве. Характеризуя политическую систему Киевской Руси, историк Г.В. Вернадский отмечал: «Три элемента власти – монархический, аристократический и демократический – уравновешивали друг друга, и народ имел голос в правительстве по всей стране» [1, с. 342]. Нарушение этого равновесия стало возможным не в последнюю очередь в силу тех изменений, которые совершались в индивидуальных сознаниях представителей рода Рюриковичей, чей статус в обществе делал их личные выборы знаковыми для окружающих.. В 1909 г. в работе «Княжое право в древней Руси» А.Е. Пресняков выступил за признание «за русскими князьями древнейшей исторической поры более активной, более творческой роли, чем та, какая обычно им приписывается в нашей историографии» [2, с. 181]. Информация, подтверждающая эту точку

зрения, была зафиксирована в русских летописях и позднее вошла в ткань исторических исследований, в свою очередь, питавших политическое сознание и современников, и потомков предложенным в них видением происходивших некогда процессов.

Влияние Н.М. Карамзина на политическое мышление не одного поколения, причем как своих сторонников, так и противников, вырвавшихся на критике «Истории государства Российского», не подлежит сомнению. Правители империи из рода Романовых авторитетом личности историографа освящали и то неизменное, что сохраняли, и те перемены, на которые решались. Осталось множество свидетельств преломления идей Н.М. Карамзина в философско-историческом, эпистолярном, мемуарном, поэтическом наследии XIX столетия.

Автор счел необходимым попытаться проанализировать, в какой мере в тексте «Истории государства Российского» отражена взаимосвязь между оформлением отечественной авторитарной традиции и спецификой становления личностей правителей в первые века российской государственности.

Особенное внимание предполагается уделить переломному, предмонгольскому периоду, так как именно начало удельной эпохи отмечено появлением знаковой фигуры Андрея Боголюбского.

«История государства Российского», подобно другим прагматическим «Историям», сформированным веком Просвещения, есть история в лицах. Такой подход вписывался вполне и в философский контекст эпохи Просвещения. Вслед за И. Кантом Карамзин вполне мог повторить: «Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу, – а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире – и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком» [3, с. 206]. Наследие Карамзина дает немало поводов полагать, что кенигсбергский философ оказал заметное влияние на формирование его этических взглядов, сказавшихся на трактовке проблемы личности в истории [4, с. 73–79], хотя, как справедливо отмечал Ю.М. Лотман, талантливо воссоздавший процесс формирования уникальной личности самого автора «Истории государства Российского», названный им «сотворением Карамзина», тот не торопился встать в ряды каких бы то ни было приверженцев [5, с. 67]. Как и Кант, Карамзин, вероятно, считал главным в Просвещении призыв к человеку иметь мужество пользоваться собственным умом [6, с. 27]. И все же наиболее значимым для Карамзина в мировоззренческом плане (как и в плане архитектоники собственной личности, стремящейся жить, «уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума» [7, с. 149]) был И. Кант. Спустя несколько лет после знакового визита в Кенигсберг, Карамзин, говоря об отроческом характере греческой философии, особо выделит именно Канта: «Читай вместе Платона и Боннета, Аристотеля и Локка – я не говорю о Канте – и потом скажи мне, что была греческая философия в сравнении с нашею?» [8, с. 157].

Представляется отнюдь не случайным, что траектория европейского путешествия Карамзина, согласно тексту «Писем русского путешественника», пролегла в первую очередь через г. Кенигсберг, где будущий российский историограф в беседе с Кантом «не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека» [9, с. 20]. За пять лет до визита Карамзина И. Кантом была сформулирована проблема влияния на эпоху через влияние историков на правителей. В работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» Кант отметит, что все же есть у историка возможность направить честолюбие глав государств и их подчиненных на единственное средство, способное оставить о них славную память» [10, с. 21–23]. Следствием своеобразного продолжения диалога с Кантом, теперь уже заочного, предназначению истории посвященного,

представляется и знаменитая формула Карамзина «история народа принадлежит царю» [11, с. 12]. Как отмечал Ф. Мейнеке, анализируя исследовательскую позицию английского историка второй половины XVIII в. Э. Гиббона, «абсолютная норма рекомендовала свободу, а практический опыт – благотворный абсолютизм, в котором добродетель властелина могла снискать и рукоплескания приверженцев абсолютной нормы» [12, с. 181]. Созвучна работам Канта и сама терминология текста предисловия к «Истории государства Российского», введившего читателя в мир отечественной истории, насыщенного словосочетаниями «гражданское общество», «нравственное чувство», «праведный суд» и т.д. Говоря о Д. Юме, Ф. Мейнеке отмечал, что тот в конечном счете «ожидал от истории гораздо более сильного нравственного воздействия, чем от поэзии и философии» [12, с. 156]; эти слова соответствуют и специфике позиции, жизненному выбору Карамзина. Представляется вполне вероятным, что именно кантовская трактовка социальной функции исторической науки предопределила научную версию российской истории, предложенную Карамзиным. Это сделало труд Карамзина итогом исканий XVIII в. в большей степени, нежели века XIX, что предопределило столь резкую критику его поколением, сформировавшимся под влиянием более поздних идей. Такова, вероятно, неизбежная судьба крупных исторических произведений, вбирающих в себя многие годы: пока труд будет доведен до конца, положенные в его основу философские достижения давно утратят прелесть новизны. Историка, без сомнения, сложно предугадать, выдержит ли испытание временем избранный им философский фундамент.

Свое видение задач, стоящих перед исследователями русской истории, Карамзин впервые отчетливо сформулирует в «Письмах русского путешественника» более чем за десятилетие до начала своего служения на поприще истории: ее необходимо воссоздать «с философским умом, с критикою, с благородным красноречием», что позволит «из Нестора, Никона и проч.» сделать «нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев» [9, с. 252]. Как свидетельствует его переписка, особенно письма к И.И. Дмитриеву, эти программные строки в момент написания были адресованы другим потенциальным историографам [13, с. 122–125], однако их актуальность отнюдь не была исчерпана к рубежу веков, когда Карамзин, по его собственному признанию, «по уши влез в Русскую историю» [14, с. 116]. Говоря о возможности сократить, подобно Юму, то, что не важно, Карамзин выделит в качестве знакового, не подлежащего сокращению, содержания «свойство народа Русского, характер древних наших Героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные».

Далее Карамзин подчеркнет: «У нас был свой Карл Великий: Владимир – свой Лудовик XI: Царь Иоанн – свой Кромвель: Годунов – и еще такой Государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории, и даже в истории человечества» [9, с. 253].

В данном контексте правители становились, по сути, Героями, определяющими эпохи, как и в трудах его непосредственных предшественников на историографическом поприще – историков англо-шотландской школы [15, с. 142–148] – Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиббона, названных им в «Письмах русского путешественника», наряду с Тацитом, образцами исследователей истории [9, с. 252]. Д. Юм, уделяя внимание личности Якова I, связывал проблемы, вставшие перед английским обществом в эпоху первых Стюартов, не в последнюю очередь с тем обстоятельством, что король-шотландец, родившийся в чужой стране, выросший среди враждебного народа, в продолжение своего царствования следовал «скорее склонностям и настроению, нежели законам политического благоразумия», что вызывало «громкий ропот английских подданных Якова» [16, с. 6–7]. С точки зрения В. Робертсона, судьбоносным событием для Европы была смерть императора Максимилиана, хотя тот не был славен «ни добродетелями, ни способностями». Событием достопамятным, причем «более всех других происшествий в течение нескольких веков», эта смерть стала по своим следствиям, нарушившим «тот глубокий и всеобщий мир, который царствовал в землях Христианских», возбудившим «соперничество в двух Государях, которое привело всю Европу в волнение и воспламенило войны, каких прежде не было в новейшие времена по продолжительности и числу участников» [17, т. II, с. 50]. Три политические фигуры, таким образом, стали, по Робертсону, определяющими «*homo politicus*» европейского масштаба: один – своею смертью, два других – Карл V и Франциск I – своим многолетним противостоянием, при всей разнице их личностных особенностей, достаточно подробно проанализированных исследователем, несмотря на провозглашенный им принцип: «обстоятельства частной жизни Карла... не должны входить в состав нашей Истории, потому что цель ее состоит более в повествовании о важных событиях во времена Карла V, нежели в описании частных его добродетелей и недостатков» [17, т. IV, с. 222–223]. Э. Гиббон, приступая к изложению событий в царствование Диоклетиана, отмечая его низкое, незнатное происхождение, поставит перед собой задачу «проследить и его заслуги и случайности», обусловившие его возвышение [18, т. II, с. 349–350]. Характеризуя ситуацию в Римской империи после от-

речения Диоклетиана (удачно сопоставленного им по поводу отречения с главным героем труда В. Робертсона Карлом V [18, т. II, с. 376]), Гиббон напишет: «Равновесие властей, установленное Диоклетианом, существовало до тех пор, пока его не переставала поддерживать твердая и ловкая рука его изобретателя» [18, т. II, с. 383].

Несмотря на признание Н.М. Карамзиным приоритетности личностного фактора в истории, при реконструкции раннего периода отечественной государственности становлению личности правителей им уделено внимания значительно меньше, чем при воссоздании истории Московской Руси, что, прежде всего, объясняется источниковой базой, информированностью исследователя. Думается, можно отнести с доверием к строкам из Предисловия к I тому: «Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми... Надлежало или не сказать ничего, или сказать все о таком-то Князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим именем, но с некоторою нравственною физиогномиею» [11, с. 20]. Не только приведенные строки, но и сама структура текста «Истории» свидетельствует о значимости для историка не только отдельных исторических личностей, но и черт их характера: историк не без основания полагал, что эти черты оставляли след в душе не только современников описываемых им Героев, но и читателей его истории, внося тем самым коррективы в процесс социализации столь разных, веками разделенных поколений. Это обусловило появление знаковых для исследователя пунктов в Оглавлении: «Великодушные Мономаха», «Гордость Олегова», «Храбрость и добродушие Мстислава» и т.д. [18, с. 822–828].

Основной вариант анализа личностных траекторий у Карамзина традиционен: жизненные итоги подводились под датой смерти. В этом отношении Карамзин воспроизводил стереотипы, характерные и для отечественной летописной традиции, и для историков восемнадцатого столетия; его подход подобен тому, что продемонстрировал Д. Юм: словосочетание «*Death and Character*» многократно повторяется в оглавлениях томов его «Истории Англии» [20]. В то же время англо-шотландская традиция позволяла свободно выходить за рамки данного варианта. Как правило, это предопределялось, прежде всего, вовлеченностью данной личности в особо значимые для соответствующей эпохи события и процессами и наличием достаточной информации о ней. Это, например, относится вполне к характеристикам римских императоров, предложенным Э. Гиббоном. Монументальная фигура Константина во всем многообразии его личностных качеств и поступков воссоздавалась историком и в главах, предшествовавших главе XVIII второго тома, названной «Смерть Константина. Новые междоусобицы. По-

беда Констанция», и в главе XX–XXI. Анализируя причины «странного и пагубного вероотступничества» императора Юлиана, он предлагал искать их «в раннем периоде его жизни, когда он остался сиротой в руках убийц своего семейства» и далее очень подробно, особенно в примечаниях, не доходя до посмертного подведения итогов, историк комментировал процесс формирования личности будущего императора, чьи несомненные личные достоинства, по его мнению, «были в некоторой мере независимы от фортуны» [18, т. II, с. 344–348, 342].

Тексты Карамзина также вариативны: информация о таких крупных действующих лицах ранней отечественной истории, как Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, Даниил Галицкий рассредоточена по разным главам, что, впрочем, не отменяет отмеченных выше обобщений. Сопоставление всех итоговых текстов, содержащихся в первых трех томах карамзинской «Истории», дополняемых замечаниями, вынесенными за пределы посмертных характеристик как в основном тексте, так и в Примечаниях, дает в целом адекватное представление об основных вариантах становления политических лидеров той эпохи. Представляется, можно вести речь, как минимум, о трех траекториях формирования личностного своеобразия правителей домонгольской Руси, явственно прослеживающихся у Н.М. Карамзина.

1. *Вариант, базирующийся на традиционном воспитании. Становление личности основывается на позитивно воспринимаемых примерах отцов.* Данный вариант – серьезное преимущество линии Мономаха, его потомков. Н.М. Карамзин многократно подчеркивает подобие того или князя его отцу: «Мужественный сын Всеволодов» [19, с. 61]; «Ярополк, добродушный, подобно отцу своему» [19, с. 62]; «Новый Государь явил добродетели отца своего на престоле России» [19, с. 104]; «Мстислав, подобно отцу своему, готовый всегда на дела великие» [19, с. 447]. Здесь, бесспорно, особенно значимы «обычаи достохвальные», как, например, пиры в Киеве, питавшие «любовь к Отечеству и Венценосцам» [19, с. 405], являвшие одновременно и экономический, и, что особенно важно, – социальный ресурс власти киевских правителей, исподволь осваивавшиеся молодым поколением. Однако этот вариант мог давать и сбои, осложняясь властолюбием старших в роде (отца, дяди и т.д.), что особенно убедительно продемонстрировал Карамзин на примере княжения Константина Всеволодовича в Новгороде: достойное начало правления и поддержка со стороны новгородцев не обеспечило Константину длительного правления в связи с решением самовластного отца [19, с. 428]. Становление правителя и ранее сдерживалось искусственно (Игорь при Олеге, Святослав при Ольге), однако в случае с

Константином это привело к ярко выраженному стремлению простраивать свое правление путем отказа от родительской модели [19, с. 444, 448]. В целом все же данный вариант вполне обеспечивал воспроизводство достаточно пассионарной политической элиты, соответствовавшей задачам начального этапа становления государственности.

2. *Вариант, основанный на негативном восприятии своего статуса в роду Рюриковичей. Становление личности проходило либо по индивидуальной траектории, либо в группе, оппозиционно настроенной к другим, более успешным линиям рода.*

В рамках данного варианта события в индивидуальной жизни или события в группе воспринимались как более важные, нежели общерусские события. Именно они определяли здесь политическую социализацию той или иной княжеской ветви (князья черниговские, полоцкие), или отдельного князя. Именно это, прежде всего, обусловило негативное развитие личности, многочисленные преступления князя Владимира, внебрачного сына Святослава. Позднее, для упрочения легитимности своей власти, он сочтет возможным опереться на христианскую традицию, освященную в роду Рюриковичей популярной в народе княгиней Ольгой. Если, говоря о причинах принятия христианства кн. Ольгой, Карамзин сочтет наиболее адекватным объяснением особенности психологии преклонного возраста [19, с. 123–124], то по поводу крещения кн. Владимира он отметит, что подлинные его мотивы известны Богу, а не людям. Тем не менее возможные альтернативы им все же были обозначены: «Истинное ли уверение в святине христианства, или ... одно честолюбие и желание быть в родственном союзе с Государями Византийскими решило его креститься?» [19, с. 161–162]. Подобным образом ранее подошел к проблеме обращения в христианство Константина Великого Э. Гиббон, выводивший мотивы столь значимого решения «или из его благочестия, или из его политики, или из его убеждений, или из его угрызений совести» [18, т. I, с. 111–112]. Принятие христианства приведет к радикальной смене приоритетов и поведенческих стереотипов при дворе Владимира [21, с. 50–53]. Явленное в процессе крещения чудо исцеления, по Карамзину, обеспечило быстрое обращение в христианство боярства, а изумленный народ не смел защитить своих мнимых богов [11, с. 152–153]. Диалог с мудрыми епископами и старцами, корректировавший политику князя в отношении преступников и внешних врагов, строительство церквей, помощь бедным, пиры для сподвижников значительно расширили диапазон деятельности княжеской власти, способствовали ее легитимации, придав, по Карамзину, образу кн. Владимира черты сходства с Карлом Великим [11, с. 161–162]. Разграничение двух эпох правления

Владимира проводилось в соответствии с этическими критериями: «Быв в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и – что всего ужаснее – братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых правилах христианства, боялся уже проливать кровь самих злодеев и врагов отечества» [11, с. 161]. В творчестве Карамзина в результате появится зеркальная по отношению к концепции «двух Иванов» (тт. VIII–IX «Истории государства Российского») концепция «двух Владимиров»: нравственное возвышение Владимира зеркально по отношению к нравственному падению Ивана IV и многократно усиливается в контексте этого сопоставления. Обе концепции, заложенные уже в летописной традиции, вызваны к жизни не только Карамзиным-историком, но и Карамзиным-драматургом, признанным авторитетом в сфере изящной словесности. Не менее ярко обрисованы Карамзиным и представители «боковых» ветвей династии Рюриковичей, чье становление, по сути дела, совершалось через воспитание в ненависти. «Ольговичи, – отмечал Карамзин, – имели союзников в Князях Полоцких: те и другие считали себя угнетенными и старейшими Мономаховых наследников» [19, т. II, с. 408]. Он подчеркивает «честолюбие беспокойных племянников» [19, т. II, с. 53], выделяет «гибельное обыкновение дружить с иноплеменными хищниками» [18, т. II, с. 387]. Под 1198 г. Карамзин запишет: «В Чернигове умер Ярослав, верный последователь братней коварной системы» – системы «кознодейства» [19, т. II, с. 410]. Хотя приведенные характеристики касаются разных линий рода, очевидно, их поведенческие стереотипы воспринимались Карамзиным именно как вполне сложившаяся *система*. В данном варианте почти в равной степени были значимы и принадлежность к роду Рюриковичей, и принадлежность к определенной его группе, обеспечивавшей воспроизводство характерной своим коварством «элиты лис», в отличие от главной линии родословного древа отечественных правителей.

3. *Вариант, базирующийся на воспитании в двойной традиции (отечественной – зарубежной), обеспечивавшей большее разнообразие индивидуальных траекторий, предопределенных как пребыванием в ином политическом пространстве, так и обстоятельствами вхождения во власть отечественную.*

Характеризуя Всеволода, Карамзин отметит, что, воспитанный в Греции, он «мог научиться там хитрости, а не человеколюбию» [19, т. II, с. 429]. Очевидно, что здесь речь идет о распространенном среди русских князей после Владимира варианте воспитания при византийском дворе в достаточно благоприятной с точки зрения статуса ситуации, среди родственников, в православной традиции, с

перспективой на достойную будущность на Руси. Идет усвоение той модели политического поведения, которая воспринимается как позитивный опыт, что не противоречит основным контурам первого варианта становления личности правителя, однако добавляет византийских витиеватостей к простодушию киевских традиций. Иначе выстраивалась траектория у галицких правителей в пограничной с католическими странами области. Карамзин подчеркнет, что, «воспитанный при Дворе Казимира Справедливого», Роман отличался «тиранством удивительным», расправами над лучшими боярами Галицкими, которых «зарывал живых в землю» [19, т. II, с. 414–413]. Облик Романа у Карамзина раздваивается: «Жестокий для Галичан, он был любим, по крайней мере отлично уважаем в наследственном Уделе Владимирском, где народ славил в нем *ум мудрости, дерзость льва, быстроту орлиную и ревность Мономахову* в усмирении варваров» [19, т. II, с. 416]. Удвоению традиции воспитания соответствует удвоение его образа, что, вероятно, отражает столкновение двух разных систем ценностей, прежде всего политических, уже вполне определившихся в Западной и Восточной Руси, судя по всему, именно на рубеже XII–XIII вв. Совершенно другие следствия дала двойная система воспитания – отчасти в Венгрии, отчасти в Галиче – в случае с Даниилом Романовичем. Карамзин характеризует его как сына человека, ненавистного народу, которому выпало на долю пережить множество предательств, так как «Венгры, Ляхи, Князья, соседственные и гордые Бояре надеялись пользоваться его малолетством» [19, т. II, с. 428]. Информирова читателя о судьбе Даниила, Карамзин позволит себе рассуждения на тему сугубо педагогическую: «Говорят, что бедствие есть учитель; оно имеет сию выгоду только для умов основательных; другие, испытав несчастье, хотя и руководствоваться в делах новыми правилами и впадают в новые заблуждения». Следующая затем характеристика позволяет отнести этого князя именно к тем, вероятно редким, основательным умам: не будучи всегда счастливым, «Даниил превосходными достоинствами сердца и неутомимыми подвигами затмевал других современных Князей Российских» [19, т. II, с. 505]. Нельзя не отметить, что образ Даниила – образ пограничный: он, его поколение завершит свой жизненный путь уже в монгольский период отечественной истории. Пограничность проявляется и в другом: по сравнительному обилию информации о нем Даниил сопоставим с правителями уже Московской Руси. В то же время сделанный им выбор в пользу Запада в решающий момент столкновения с Востоком позволяет видеть в нем наиболее последовательного представителя третьего из выделенных здесь вариантов складывания личности правителя.

К какому же из представленных вариантов следует отнести Андрея Боголюбского – знаковую фигуру в процессе становления авторитарной традиции на Руси? Текст Карамзина, посвященный событиям 1150 г., когда «Георгий, дядя Вячеслав, Бояре, витязи, с радостными слезами славили храбрость» [19, т. II, с. 145] тогда еще юного князя Андрея, думается, позволяет вспомнить о первом, наиболее гармоничном варианте. В то же время признанный историком «конечно одним из мудрейших Князей Российских в рассуждении Политики, или той науки, которая утверждает могущество государственное», явно стремившимся к спасительному Единовластию, Боголюбский, по Карамзину, был ослеплен пристрастием к северо-восточному краю [19, т. II, с. 370–371]. Северо-восточная альтернатива устремлениям его отца на юг, к Киеву, позволяет видеть в нем личность, вышедшую за грань предначертанной предшественниками траектории, рискнувшую провозгласить новые цели и ценности в условиях значительного ослабления монархического элемента в политической системе Руси после смерти Мстислава Великого [22, с. 51–56] и заплатившую за это ранней смертью. Карамзин подчеркнул двойственность реакции общества на убийство кн. Андрея: «Владимирцы оплакивали Андрея, но не думали о наказании злодейства... казалось, что государство освободилось от тирана...общее неудовольствие происходило от худого исполнения законов или от несправедливости судей...» [19, т. II, с. 370]. Представляется интересным соотнести охарактеризованные здесь варианты с классическими моделями социальной адаптации, выделенными Р. Мертоном. Вероятно, можно говорить о преобладании конформистской модели в первом

варианте, дополняемой отдельными проявлениями инновационной; мятеж, двойственное, превратное восприятие общепризнанных целей и средств их достижения характерно для второго варианта; в третьем же варианте прослеживается, наряду с инновационностью, нарастание ритуализма, стремления соблюдать «правила игры» при достаточно скептическом отношении к принятым ценностям. Соответственно А. Боголюбский в своем развитии представляется личностью, рискнувшей провозгласить и новые цели, и новые способы их достижения, и потому не сумевшей адаптироваться к тому социуму, которым довелось править.

Подводя итоги, нельзя не отметить одного чрезвычайно любопытного и, безусловно, неожиданно обстоятельство: самой информативной частью анализировавшегося здесь текста (кроме сведений о Владимире Святославовиче) стала глава III третьего тома «Истории государства Российского», посвященного правлению князя Всеволода. Вероятно, именно в его время, в конце XII – начале XIII в., т.е. вскоре после гибели брата его Андрея Георгиевича, обозначились наиболее отчетливо последствия постепенного складывания выделенных здесь традиций, более того, стало заметным усиление двух последних. Представляется, Карамзину удалось в масштабном, изобилующем фактами полотне донести до читателя сквозящую в безыскусном летописном изложении кризисную ситуацию в сфере воспроизводства политических традиций. Личностный фактор трагедии конца 30-х гг. XIII в., открывшей дорогу экспансии монгольской, несопоставимо более авторитарной, политической традиции, по Карамзину, закладывался именно тогда, на рубеже XII–XIII столетий.

Литература

1. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь; М., 1997.
2. Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси: Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993.
3. Кант И. Приложение к «Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного» // Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 2.
4. Рудковская И.Е. Идеи И. Канта в историческом творчестве Н.М. Карамзина // Историческая наука на рубеже веков: Материалы Всерос. науч. конф. Томск, 1999. Т. I.
5. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
6. Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Соч. Т. 6.
7. Карамзин Н.М. Мелодор к Филалету // Избр. статьи и письма. М., 1982.
8. Карамзин Н.М. Филалет к Мелодору // Там же.
9. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984.
10. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. // Соч. Т. 6.
11. Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1989. Т. I.
12. Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004.
13. Рудковская И.Е. Проблемы информативности эпистолярного наследия Н.М. Карамзина // Документ в меняющемся мире: Материалы Первой Всерос. науч.-практич. конф. Томск, 2004.
14. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866.

15. Рудковская И.Е. Н.М. Карамзин и англо-шотландская историографическая традиция второй половины XVIII в. // Вестник Томского государственного университета. № 281, Март 2004 г. Сер. «История. Краеведение. Этнология. Археология». СПб., 2001.
16. Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. Т. I. СПб., 2001.
17. Робертсон В. История государствования императора Карла V. М., 1839. Т. II, IV.
18. Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. СПб., 1997. Т. I–IV.
19. Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1991. Т. II–III.
20. Hume D. The history of England from the invasion of Julius Caesar to the revolution in 1688. London, 1830. V. I, II, III.
21. Рудковская И.Е. Смена приоритетов княжеской власти в связи с принятием христианства в трактовке Н.М. Карамзина // Православие и развитие российской духовной культуры в Сибири. Томск, 2004. Т. 2.
22. Рудковская И.Е. Н.М. Карамзин о соотношении монархического, аристократического и демократического элементов в политической системе Киевской Руси // Материалы Междунар. конф. «Первые исторические чтения Томского государственного педагогического университета». Томск, 2005.

А.А. Степанов*, Л.М. Зольникова**

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

* Томский государственный педагогический университет

** Томский политехнический университет

Техническое творчество с момента возникновения философии техники было одной из центральных тем этой философской дисциплины. Полный список работ, посвященных проблеме творчества только на русском языке, мог бы заполнить не одну страницу этого издания. Однако, несмотря на обилие теоретических наработок по проблеме технического творчества, их реализация в практике инженерной деятельности оставляет желать лучшего. Технологический уровень отечественного производства еще далек от мировых стандартов. Конечно, отечественной инженерной мысли есть чем гордиться. В отдельных направлениях, особенно в военном, как технические решения, так и их воплощение в конкретные изделия находятся на непревзойденном уровне. Тем не менее в целом техническая и технологическая оснащенность страны отстает от передовых стран мира. Одной из многих причин такого положения дел, по нашему мнению, является и «однобокость» подходов к исследованию технического творчества.

Начиная с исследований П.К. Энгельмейера, техническое творчество понималось как *деятельность* по созданию нового. Петр Климентьевич Энгельмейер в своей концепции трехакта понимал техническое творчество в единстве интуиции, рационального мышления (идеи) и практического действия (организованного рефлекса). Отсюда видно, что техническое творчество понимается как деятельность преимущественно индивидуальная, противопоставленная коллективной (нетворческой) деятельности.

Подобный подход к исследованию технического творчества был обусловлен как технической практикой начала XX в., когда технические и техноло-

гические новации исходили от конкретных личностей, так и европейскими социокультурными смыслами, связывающими техническое творчество с художественным. Поэтому основной акцент в исследовании технического творчества делался на разработку алгоритмов изобретения и решения творческих задач (см., например, [1–4]). Помимо логико-методологических аспектов большое внимание уделялось анализу психологических и воспитательно-образовательных аспектов технического творчества. Поскольку в структуру деятельности (субъекта в первую очередь) входят элементы, производные от социокультурной среды, в работах, посвященных техническому творчеству, отмечались социальная и культурная обусловленность технического творчества. Особенно это касалось мотивации к творческой деятельности и реализации творческих идей. Однако дальше констатации влияния социальных и культурных факторов на развитие технического творчества теория не шла. Даже отмечая социальную и культурную обусловленность творческого процесса, большинство исследователей акцентировало внимание на когнитивно-психологических аспектах творчества [4].

Социокультурная реальность, с одной стороны, обусловившая возникновение философии техники, детерминировала понимание технического творчества как чего-то сугубо личностного, индивидуального – с другой. В результате такого понимания технического творчества возникла теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Несмотря на то, что социокультурные условия существования техники, ее производства и проектирования измени-